

АМИТРИЙ СТРЕШНЕВ

ПРИЗРАКИ не умирают



Дмитрий Стрешнев

Призраки не умирают

<https://litres.ru/74106463>

SelfPub; 2026

Аннотация

Накануне московской Олимпиады-80 убит зампред совмина одной из союзных республик. Никаких подробностей об этом загадочном преступлении официально никогда не сообщалось. Повествование ведется от лица автора, который совершенно случайно получил информацию о расследовании убийства, и для которого это преступление со временем приобрело особый смысл. Действующие лица начинают жить как бы своей жизнью, вторгаясь в судьбу рассказчика, командуя его мироощущениями. Это не Шерлок Холмс, это настоящее. Убийство не раскрыто до сих пор, а расследование превратилось в некое подобие театра абсурда, когда каждая новая улика еще более запутывает дело. Поэтому произведение, которое должно было стать обычным политическим детективом, перешагнуло границы жанра. Автор так упорно пытается заглянуть в мрачный пугающий мир реальных участников событий, что в конце концов они начинают командовать его мироощущениями. В 2024 году произведение стало лауреатом премии «Золотое перо Руси».

Дмитрий Стрешнев

Призраки не умирают

Мы были тогда ужасно молоды и настолько же беспечны.

Кроме того, в арпеджио настроения гремели две громкие ноты: шикарная весна — как в старых фильмах о любви, и еще — уже растиражирован и расклеен был повсюду чижиковский Миша, сдержанной своей улыбкой напоминающий народного кандидата, не сомневающегося в любви избирателей. Для нашей честолюбивой двадцатки Мишина улыбка и его нарисованные гуашью черные глазки имели свое, почти святое, иконоподобное значение: ведь мы были отобраны для работы в пресс-центре Олимпиады-80, были его будущей энергичной кровью.

Ах, как было славно тогда! По радио каждый день передавали уточненные цифры поголовья физкультурников в стране: 50 миллионов, потом 60, 70 миллионов... И всем было только весело от этой неуклюжей лжи.

Не без самолюбования скажу: мы были отобраны Старой Площадью не только по анкетным данным. Чтобы доказать это, достаточно поведать, что на многочисленных лекциях, целью которых было навести на нас неотразимый лоск (“Социализм и оптимизм”, “Итоги последних пятилеток”, “Успехи продовольственной программы”), Обинюк и Галкиан играли в го; Полулуков доканчивал сочинение “Психоло-

гия приматов", начинающееся со слов: "Хотелось ли вам когда-нибудь взглянуть на мир глазами шимпанзе?..", а Бомберг читал Шпенглера в оригинале. Ну а я... я сочинял романтические сказки о победе добра над злом. Короче говоря, мы были гордостью стандартного местного производства, приближающегося к мировым образцам. Вот кто собрался в тех стенах в те дни.

И все мы как-то сразу насторожились, когда в аудиторию вошел он — назовем его почти по-тургеневски: Н. Он не совпадал со столькими солнцами сразу: небесным, пятью олимпийскими и с маленькими солнцами апельсинов, которые с каждым днем все чаще сияли в авоськах (к Олимпиаде всего стало немного больше).

Он был не из этого мира. Тень отца Гамлета перепутала акт и пьесу.

Сначала показалось, что беспокоящее излучение исходит от ухоженного казенного прокурорского сукна и холодного жестяного созвездия на воротнике. Но совесть наша честно смотрела в глаза Советскому государству, а звездочки мы видывали самые разные.

Н. положил на стол папку, заговорил — и Эльсинор вдруг возник явственней, как будто он спроецировал его своим взглядом. И оживил голосом. Как бы поточнее объяснить... Перед нами был человек явно сильный и привыкший быть сильным, и вдруг понявший, что его сила была просто розыгрышем, а гиря, которой он думал вот-вот накачать дельту,

оказалась резиновой.

— Меня просили прочитать вам лекцию,-начал Н. голо-
сом размеренным, четким и глуховатым,-о социалистиче-
ской законности и о достижениях в области защиты прав че-
ловека в СССР. Поскольку вы во время Олимпиады буде-
те общаться с иностранцами, эти сведения могут вам приго-
диться. В том числе...-он приостановился, захотев сглотнуть,
— в том числе для опровержения различного рода слухов,
распускаемых идеологическими противниками...

Он продолжал говорить, а мы всё не могли понять, что
его мучило. Уж, конечно, не то, что Обинюк и Галкиян иг-
рали в го на безразмерном поле. Как и другие лекторы, он
не утруждал себя тем, чтобы замечать наши школьные про-
казы. Отчитал свое — и гуляй, Вася: небо, травка, тополя,
хорошая зарплата.

И все-таки этого что-то мучило.

— Вы ведь журналисты?-вдруг спросил он, будто прове-
ряя не нас, а себя.

— Журналисты,-подтвердили мы.

Обинюк с Галкияном временно прервали японскую про-
верку украинского и армянского интеллектов и насторожи-
лись.

— Значит, журналисты...

Мы оживились и заулыбались. Дело в том, что наставники
любили время от времени побаловать нас разными история-
ми. Истории были страшно занимательные, поскольку те, кто

их рассказывал, были людьми не простыми, обязанными по долгу службы участвовать в мероприятиях по строительству светлого будущего и присутствовать на закрытых совещаниях, где порой принимались решения, напоминающие мертвые выкидыши, типа: надоить от каждой свиноматки вдвое больше цыплят. Все эти номенклатурные анекдоты выкладывались нам почему-то с радостной злостью, с торопливой готовностью отделить себя от торжествующего византизма и намекнуть: я-то, конечно, на самом деле насквозь все вижу, но обстоятельства... окружение... система... Многим лекторам их развлекательные истории удавались не хуже, чем всеобщим эстрадным любимцам, поэтому оживились мы не случайно.

Н. долго и как-то тяжело молчал. Другие в таком случае начинали сразу и бодро: “Вот раз полетели на вертолете с обкомовским секретарем — выбирать место для закупленного у Америки животноводческого комплекса. Секретарь — вертолетчикам: подыщите пейзажик покрасивее, чтоб перед иностранцами не было стыдно. Показываем американцам одно место, другое — всё не нравится. Ну, шепчет секретарь, выкобениваются империалисты! А те вдруг взмолились: у вас что — пустырей нет, оврагов? Мы ведь всё бетоном будем заливать!..”

Неожиданно Н. сказал, словно выстрелив первым “вы”:
— Вы помните сообщение о трагической гибели... — и он назвал имя председателя совмина одной из республик.

Мы дружным разнобоем прокричали, что помним, а Обинюк справедливо заметил, что с предсовминами у нас нечасто что-нибудь происходит.

Ну что, действительно, могло случиться с одним из наших вечных предсовминов? Поскользнулся в ванне и — виском? Выпал с пьяных глаз из окна? Схватился сгоряча мокрой рукой за штепсель?.. Вот это было в нашем представлении вероятнее всего, поскольку образцовое поведение и пятерки по физике как-то не вязались для нас с чиновными отцами. Но все эти размышления были запоздалыми и заведомо лишними, потому что всё тот же сухой, потрескивающий голос уже сказал:

— Я участвовал в расследовании этого дела.

И потом:

— Дела об убийстве.

Кто-то присвистнул, а кто-то, сам себе не веря, спросил:

— Что — политическое?

И тут же — шепот:

— Ты что!

Тот, кто вызвал этот мгновенный ветер, переждал его, глядя в окно. И нас вдруг ужалило: ему было, в сущности, наплевать, кто здесь сидит — Обинюк с Галкиным или Петров с Сидоровым; перед нами был цирюльник, решившийся поведать ямке в песке нечто про царя Мидаса.

— Я хочу рассказать вам некоторые подробности этого дела. Но прежде вы должны дать мне слово, что это умрет в

вас... И уж, конечно, не разрешаю вам ничего записывать.

Но действительно ли цирюльник хотел, чтобы тростник молчал?

И он рассказал.

Не знаю, как другие, а я сдержал слово. Но история, услышанная от человека с холодными жестяными звездами на воротнике, стала не просто частью памяти. Чем дальше уплывал тот день, тем она всё больше оживала, наливалась цветом, начинала двигаться, как в кино. Я даже начал различать запахи, которых может быть не было: душную южную смесь пыли, бензина и акации; я видел всё, вплоть до капелек пота на лбу и крыльях носа у человека с грубыми руками шофера, который, расслабясь, ест суп в просторной кухне казенного особняка и не знает, что всего лишь через пять часов...

Но об этом после.

Столько изменилось за эти годы! Однако самое главное — в том, что изменились мы сами. И сегодня я рассказываю об этом не потому, что время сняло табу, наложенное человеком в темно-зеленом мундире (я даже не поручусь, что запомнил всё абсолютно точно). Просто то, о чем он рассказал, стало частью меня самого. До последнего часа я буду помнить тот день, когда в моей жизни, такой светлой и уверенной, впервые появилась тень холмов, окруживших Озеро. Купающаяся в воде Озера тень холмов, никогда не виденных мной. Это был первый страх перед таинственной дверью в царство паутины и тьмы. После первого атомохода, перво-

го спутника и первого лунохода.

Когда я думаю об этой истории, то иногда прежде всего вижу, как большая черная чайка с серебрянными зигзагами на крыльях въезжает в безмятежный и тихий пока городок. А порой я отчего-то сразу вижу, как убили того парня — назовем его Аскер (потому что в местах, где это происходило, кажется, в ходу такие имена).

Легче всего мне представить, как этот парень стоит и беседует с двумя милиционерами. Хотя — он уже не совсем “парень”, ему лет за тридцать. Тот вечер я тоже хорошо представляю. Южная чернота (я бывал, конечно, на юге), звезды как рыночный урюк, но даром (шутки тут неуместны, простите, что так получилось). А вот улицу представляю не очень ясно и часто по-разному. Наверное, нет фантазии. Хотя — что ее особенно представлять? Скорее всего, я просто слишком стараюсь. Совершенно такая же улица, как в каком-нибудь рядовом Усть-Заплутаевске. Но немного почище, разумеется, ведь это было место, где находился Особняк.

Значит, это была обычная глуховатая улица. Какие-то дома, палисадник... На углу пусть будет даже магазинчик с полусонной ночной лампой в витрине.

И еще один немой и сгорбленный свидетель — это фонарь.

Все трое — Аскер и оба милиционера — стояли под фонарем. Это, если рассуждать, вполне естественно. Я тоже, если бы остановился вечером с кем-нибудь поболтать, предпочел

бы под фонарем.

Да, пока не забыл, нужно сказать, что “Чайка” с серебряными зигзагами на боках уже несколько часов как проехала.

Возможно, там был еще фонарь, как положено — метров через пятьдесят, и другие фонари. Но мне, конечно, легче представить, что был один фонарь, потому что тогда почти вся улица остается в темноте — будто есть, а будто нет. Но улица вполне была — с домами и с людьми в них, потому что позже нашлись свидетели, которые рассказали, что беседа под фонарем продолжалась почти час.

Свидетели очень просили не записывать их имен. Потому что, когда раздался выстрел, и Аскер упал, милиционеры тут же убежали. Было бы понятно, если бы они побежали туда, откуда ударил выстрел, но они побежали абсолютно в другую сторону. Хотя многие жители Городка разбирались в тонкостях разных видов оружия (я об этом уже знаю, а вы еще сами убедитесь) и по звуку могли определить, что Аскер схлопотал пулю не из милицейского Макарова, но, рассуждая чисто обывательски, они готовы были предположить всякое. Поэтому даже следователей из Москвы они позже убеждали не записывать их фамилии: ведь местная милиция вполне может в протоколы каким-то образом заглянуть. Во всяком случае, мне такая логика представляется вполне оправданной. Сам не знаю, почему, но я легко могу представить мысли и чувства жителя такой вот улицы с фонарем и магазинчиком, рассуждения о которой мне и самому уже надоели.

И еще представляю, конечно, привычные страхи этого жителя. Поэтому еще долго никто не выходил посмотреть на упавшего. Обыватели, между прочим, несмотря на все высокомерные литературные насмешки над ними, бывают проныцательны и мудры. Я думаю, они уже знали, что “Чайка” проехала. И любая случайность могла приобрести теперь государственное значение. Обыватель понимал свою малость в сравнении с государством и с полным основанием оставлял последнему самому разбираться со своими делами. Обыватель думал: “А вдруг?..”, и ход мыслей его был правильный, и логика не подвела его и на этот раз.

А теперь я хочу все-таки увидеть ту “Чайку”, но для этого надо вернуться назад, когда солнце еще висело в небе плоским малиновым кругом.

В этот багровый час — как я представляю, было примерно полдевятого — “Чайка” с серебрянными зигзагами на боках, “Чайка” черная, как догоняющая ее ночь, уверенно шурша шинами, въехала в Городок. Никто не обратил на нее внимания. Именно так, без противопоставляющих глупых слов “хотя”, “но” или “однако”. С тех пор, как у Озера несколько лет назад построили Особняк, такие приезды воспринимались как ветер... или как полнолуние. В общем, как что-то не зависящее от людей. Что-то вроде природного явления. И я вижу, как большая черная машина проезжает по улице, словно невидимая, не вызывая ни у кого даже поворота головы. Но я хочу и вижу, как одни глаза поворачиваются из уз-

кого переулка вслед черному силуэту; вслед дыму, смешавшемуся с тонкой пылью. Это тяжелые глаза, медлительные, с усталой недобротой. И рука понимает с опрокинутого ящика недопитый стакан:

— С приездом!

Кто он?

Не знаю. Это никто. Никто конкретно. Это просто неотъемлемая часть пейзажа, который я вижу.

“Чайка” с зигзагами проследовала по направлению к Озеру. Вот она притормозила на асфальтовой площадке перед воротами. Все это так банально, что хочется скорее проскочить дальше. Дежурный из-за стекла будки, как будто из аквариума, сделал почтительный жест рукой, ведь он прекрасно знал подъехавший автомобиль. Он сделал жест, приветствуя сразу и водителя, и пассажиров, и включил механизм, открывающий ворота. Мощный мотор “Чайки” снова зворчал; машина въехала под тень платанов... тутовых деревьев?.. Нет, я передумал, пусть это будет аллея, обсаженная туями.

Теперь осталось самое легкое — вообразить Особняк, его главный корпус, возле которого уже останавливается “Чайка”. Он должен быть весь из прямых углов, из кирпича и без особых фантазий, у его хозяев ведь нет фантазии, нет изыска. Я почему-то угадываю в грузном человеке, вылезавшем из-за черной с никелем дверцы презрение к изящному и любовь к простому и основательному комфорту. Я даже дога-

дываюсь, что ему нравится иметь это презрение и эту любовь. Этот человек одет в серый костюм и светлую рубашку с галстуком; его седые волосы пострижены так коротко, что на висках просвечивает кожа; глаза скрыты темными очками в толстой оправе. Его возраст — обычный руководящий возраст тех лет.

Когда он снимает очки, особенно хорошо видно, что глаза и скулы у него азиатской формы. С нормальной российской азиатчинкой. Такие лица можно было встретить в моей прежней стране от Владивостока до Москвы, от степной юрты до президиума уважаемого учреждения.

Мне не хотелось бы упоминать имя, хотя оно, как вы понимаете, не является секретом. И название Городка тоже известно. И Озера. Но если я назову имя и место, это будет уже не моя История, а будет просто протокол или репортаж; если хотите — что-то бумажно-киоскное. А моя История навсегда поселилась во мне. Она не хочет желтеть и блекнуть, как газетный лист с подлинной фамилией. Она стала для меня отсеком моего мозга, частью моего позвоночника, моей печени. Поэтому я назову человека в сером просто по инициалам его должности. Ведь моя История совсем не об убийстве и сыске, вы понимаете?.. Мне хочется надеяться, что вы понимаете.

Очувтившись на асфальте, человек в сером костюме помогает выбраться из недр “Чайки” женщине лет... — не будем заниматься угадыванием женских возрастов — в длинном

широком платье, с гладкими волосами, зачесанными к затылку и собранными там в узел. Я вижу, как, когда она выпрямилась, уже не опасаясь задеть потолок машины, ее лицо принимает — нет, не надменное, но властное — выражение, большие, чуть раскосые глаза посылают недовольный взгляд на дворника с метлой, издалека глазеющего на высоких гостей.

Еще через секунду выясняется, что “Чайка” привезла еще двух пассажиров: пожилую женщину, почти совсем старуху, с рыхлым, болезненным лицом и молодую, почти школьницу, выглядящую простовато рядом с остальными спутниками. Обе женщины — старая и молодая — одеты по-будничному неярко, а по их равнодушному виду мне ясно, что эта поездка для них не что иное, как работа.

Теперь самое время, чтобы на одной из боковых дорожек, ведущих откуда-то из парка, появилось еще одно лицо. Это мнимый хозяин Особняка — его директор. Дежурный сообщил ему о прибытии. Он приближается почти бегом.

Теперь я начинаю слышать голоса. Сначала кричит директор. Он кричит еще издалека:

— Добро пожаловать! Прекрасно, прекрасно, что вы приехали!..

Директор подбежал, и вот он с уважением, а может и с некоторым подобострастием (да, конечно, с подобострастием!) пожимает протянутую ладонь большого человека в сером, а затем жены большого человека. Человек же этот —

большой не только в смысле грузности тела, но и в другом, более важном смысле, и об этом напоминает последовавшая директорская фраза:

— Что же это, ай-ай-ай, вы сегодня без охраны? Председатель совета министров всей республики — и без охраны!

— Без охраны?—спрашивает тот, кого назвали столь высоким титулом, и мне самому неясно, удивлен ли он этим обстоятельством или же просто машинально переспросил, отвлеченный какими-то своими мыслями.

— Да-да.-отзывается директор.-Никто из охраны не приехал, территория не проверена. Нам даже ничего не сообщили.

— Э, ничего страшного,-говорит гость, и я слышу, как он смеется,-Невелика шишка — предсовмина республики!

Он снял темные очки, потому что уже опускаются вечерние сумерки, и вот уже похлопывает директора по плечу и привычно-демократически шутит, показывая бровями в сторону шофера и женщин из обслуги:

— Главное — моя армия при мне. Надеюсь, не прогоните нас?

— Что вы! Ваши комнаты всегда готовы!

ПСМ (я теперь буду называть его так, если вы не возражаете) и сам, наверное, догадывался, что его комнаты всегда готовы. Я подозреваю даже, что в этом факте для людей его уровня во многом был смысл того, что с системой жизни, которую порой называют общественным строем, все в поряд-

ке. Если где-то взрывались газопроводы, не хватало зерна до следующего урожая, если ответственные лица оказывались ворами и подонками, это были досадные неприятности и издержки. Но если комната в Особняке вдруг оказалась бы не готова, это было бы серьезным предупреждением, что порядок под угрозой. Иногда мне кажется, что это просто моя глупая интеллигентская предвзятость. Тем более, что я не общался с людьми такого ранга. Но я видел других, пониже, из которых потом отбирались те — для Особняков. Поэтому я все равно не могу отвязаться от этого впечатления.

Пока я отвлекался на эти рассуждения, вся группа уже отправилась к Особняку. Директор что-то непрестанно говорит, и его голос в спокойном и чистом вечернем воздухе разносится далеко, словно щебет птицы. Мне неинтересны эти пустые разговоры, поэтому я не иду следом за ними, а только наблюдаю со стороны, как ПСМ и его маленькая свита исчезают за стеклянными дверями. Потом я вижу, как сразу в нескольких окнах зажигается свет. Это значит, что высокий гость и его супруга добрались до своих комнат. Они зажгли свет, а раз свет, значит, уже было довольно темно, и возможно уже горел тот фонарь, возле которого упал тот парень, названный мной Аскером.

Он упал, когда грохнул выстрел, и вот он лежит в луже света на неровном пыльном асфальте.

Милиционеры уже убежали — те два милиционера, что разговаривали с ним — помните?

Теперь я, как в телевизоре, переключаю изображение, потому что не могу больше видеть это тело, смешавшееся с собственной тенью. И я беззвучно пролетаю над заборами, сквозь какие-то южные упругие кусты, и вместе с эхом выстрела утыкаюсь в стену обычного беленого дома. По веревочкам вьется что-то вроде хмеля; высокие кроны закидали угол серыми пятнами; если бы я был силен в ботанике, я бы немного разукрасил рассказ нежно-затейливыми названиями немого зеленого царства и небрежными описаниями этих двух-трех рвущихся ввысь и струящихся вдоль стен растений. А так — представляйте все себе сами: и дом, и то, что вокруг него. Это был единственный дом, не подчинившийся всеобщей мудрой глухоте. Когда прозвучал выстрел, дети ели, а женщина смотрела на них, одновременно прислушиваясь к улице. Как все женщины, она всегда кого-то ждала, всегда за кого-то боялась и всегда имела много беспокойных маленьких мыслей в голове.

Сейчас она равнодушно смотрит на экран черно-белого “Рубина”... Я уже не помню толком, какие тогда были передачи. Как быстро все забывается, верно? Конечно, с тех пор многое побледнело в памяти, но ведь немалый кусок моей жизни остался в той эпохе, и этот кусок, между прочим, в литературе (не в такой, конечно, писанине, как моя, а в настоящей) называют лучшими годами.

Вспомнил: пусть эта женщина в белом доме смотрит по телевизору модный тогда сериал “Адьютант его превосходи-

тельства”... Но лучше не “Адьютанта”. Потому что в “Адьютанте” иногда стреляют, а в моей Истории тоже есть выстрелы, и мои выстрелы настоящие, хотя их и намного меньше. Но они настоящие, и поэтому страшные, и я не хочу смешивать их с киношной бутафорией.

Может быть, она смотрела “Клуб кинопетешественников”? Нет, эта передача здесь не подходит: слишком шумен и велик мир, он чужой на этой кухне, где круглые остриженные шары детских голов чуть качаются, выполняя ежевечернюю повинность по пережевыванию однообразного ужина.

Поэтому пусть в “Рубине” будет что-нибудь невразумительное: “Сельский час” или “В мире животных”.

На этом не слишком громком фоне выстрел звучит особенно отчетливо и страшно.

Женщина переводит глаза в окно, в густеющую тьму, которая все равно ничего не скажет; щеки детей перестают надуваться от жевания.

Через некоторое время она все-таки встает. Поняла, что выстрел может иметь отношение к ней? Я вижу, что, кажется, такая мысль у нее мелькнула. Хотя тот, кто должен в конце концов появиться в этой кухне — обыкновенный гражданин и не самый образцовый муж (следствие потом с блеском выяснит: относился к семье так себе). Как принято на Востоке, он не балует домашних известиями о своих важных делах, но женщина по двум случайно выпавшим словам может примерно представлять, какие ситуации для неразум-

ного, самовлюбленного и упрямого существа, называемого мужчиной, могут быть неслучайны.

Поэтому дети остаются за столом, а она выходит.

Может быть, она сказала им что-то вроде: “Сидите, я пойду посмотрю.”

В саду, где тишина, где только легкий ветер в листьях, она уже может вполне подумать: может, не выстрел, а техническое что-то? Бывает, у машин так грохает из трубы...

Во дворе стоит их “Москвич”. Она вдруг видит силуэт. Мужской. Все они одинаковы в темноте. Она окликает: “Аскер, ты?”, ожидая, что это муж, но язык спотыкается: это не он.

И тот, кто был лишь силуэтом, открыл дверь “Москвича” и подтвердил, что не Аскер: “Нет”.

Я думаю: та женщина даже не успела испугаться, так побудничному просто он вылез и пошел прочь. И ружье он совершенно не прятал, когда задами стал спускаться в распадок, который вел к Особняку.

И еще я думаю: зачем он сидел там, в машине? Ждал того, кого мы условились называть Аскером? Подстраховывал? Или просто наблюдал, как разовьются события?

Хотя, эта задачка, в общем-то принципиального значения не имеет.

Тем более, что женщина идет туда, на улицу, к фонарю, под которым... Как хотите, я за ней не пойду.

У меня есть спасительный ход: вернуться назад в Особ-

няк. Я поспеваю туда к моменту, когда ПСМ и его жена собираются с директором в кинозал, чтобы скоротать время. Я, конечно, очень смутно представляю, какие фильмы предпочитали смотреть такого ранга люди. Может быть, что-то совершенно развлекательное, вроде “Фантомаса”, чтобы снять административные стрессы. На их месте я, наверное, пристрастился бы к подобной легкой похлебке для глаз.

Кастелянтша и повариха, разумеется, в кино не пошли. Я почему-то уверен, что они, как и я, не имели полного представления о том, какими фильмами развлекаются их хозяева. И уж, разумеется, им не пришло бы в голову спросить: что, мол, смотрели? Как не пришло бы в голову подумать: хочется им самим в кино или нет. Должен же быть в таких местах, по моему разумению, определенный порядок, неизменный, как фазы луны. И, согласно этому порядку, ПСМ с супругой полагается идти в кино или в баню или просто погулять, чтобы дать возможность четверем привычным, знающим свое дело рукам превратить театральные декорации Особняка в просто жилище для усталого человека.

Вот эти руки занимаются своим делом. На этом месте я всегда прищуриваю глаза — в комнате ведь уже бродят сумерки вокруг уютного торшера. И я тоже хочу, чтобы у меня в глазах были сумерки того чуть тяжеловесного уюта, где слишком много паркета, скрипучей лаковой мебели и других признаков основательной, не торопящейся за капризами века, власти.

Да! Обязательно еще бутылка с ровненько приклеенной глянцевою этикеткой с чужими буквами: “Vogjomi”. Это, пожалуй, один из самых потрясающих символов могущества, поскольку остальные триста миллионов населения страны пьют из сосудов, где этикетка нередко — словно грязная щетка, смятая пощечиной.

Ну а кино?

“Белое солнце пустыни”

“Печки-лавочки”

Нет-нет! Разумеется, в Особняке могло быть и что-нибудь поинтереснее. Еще раз повторю: не очень-то я знаю, что любили смотреть в Особняках. Это оттого, наверное, что я не совсем представляю себе этих людей. То есть, прекрасно представляю, как они ходят, разговаривают, боятся, ненавидят и даже принимают решения. А вот как они смотрят кино — не могу представить. Неужели их — режиссеров нашей жизни и ее ведущих актеров — неужели их так же, как и нас, захватывали те же наивные фантазии, которыми так дорожила наша тогдашняя жизнь? Надо вспомнить какие-нибудь магически-недоступные названия, о которых приглушенно рассказывали допущенные к блатным просмотрам знакомые.

Ну, например, что-нибудь о Джеймсе Бонде. В то время, кажется, уже вышли “Мунрэйкер — Лунный гонщик”... или “Контакты третьего рода”... Не знаю, тянет ли последнее на Особняк, немножко заумно. Да и давит заморская техноло-

гия, не сочетается со вчерашним совещанием по проблеме снабжения запчастями накануне уборочной...

А вдруг это была климовская “Агония”? Может быть, может быть... Есть особый в этом шик — смотреть то, что запрещено твоими же партайгеноссе... Хотя, нет, «Агония» появится годом позже.

Но нет, для развлечения — скорее все-таки что-нибудь более легкое: французскую комедию... или музыкальное... что там было музыкальное? “Субботняя лихорадка”... вряд ли. Очень дискотечно, скорее — “Бриолин” — тоже с Джоном Траволтой, да еще и с Оливией Ньютон-Джон. Как они поют там — Джон с Оливией? “Безнадежно предан тебе...”. Очень красивый дуэт.

Джон с Оливией еще пели, а в Особняке все уже было готово: и уютные торшеры протерты, и постели раскрыты конвертами. А кастелянтша и повариха — первая в возрасте Фирса, а вторая молодая — торопились, уже на кухне, доделать свои дела пораньше, чтобы накопившуюся от переезда и от обживания Особняка усталость поскорее смыть сном. Я вижу, как они делают эти свои дела с привычной непринужденной сосредоточенностью, и даже парочка слов не перелетает от одной к другой. Я догадываюсь, почему они молчат. Это молчание профессионалов, привыкших молчать и при хозяевах, и в кругу собственной родни. Выпустить лишнее слово для них — все равно что допустить что-то неопрятное в одежде.

И вот так они молчат и занимаются каждая своими обязанностями. Но я знаю, что сейчас произойдет, поэтому я гляжу на дверь и вижу, как она вздрогнула и начала медленно и нежно отворяться. Пожилая кастелянтша как раз проходит мимо. Она привыкла обитать в мире, где не бывает ненужных и случайных открываний дверей. Поэтому она спрашивает со строгим раздражением:

— Кто там?

— Не бойся, хозяйка. Сторож, -говорит кто-то невидимый из-за двери.

И я отчетливо вижу теперь, как эта чопорная женщина с брезгливым презрением смотрит на закрывающуюся створку.

Хотя потом она скажет, что отметила, что голос был незнакомый, и что ей странным показалось это “не бойся”. Кого можно бояться в Особняке??? Но мне почему-то кажется, что она лукавит, и на самом деле в этой голове, украшенной строгим постным лицом, пробежало всего-навсего электричество заносчивого негодования на то, что так близко разгуливают такие плебейские голоса.

А может быть, ее высокомерная брезгливость отлилась примерно в такую мысль: нанимают без разбора местную деревенщину!

Но голос уже пропал, и границы окружающего мира восстановились. А через соответствующий промежуток времени из кинозала возвратилось основное лицо, и весь Особняк

начал отходить ко сну.

Первой заснула, я думаю, молодая повариха, ведь ей помогали еще не испорченный возрастом обмен веществ и мысль о предстоящей ранней вахте у плиты. Шофер Юра (разумеется, это я его так назвал) лег внизу, на первом этаже, открыв для здоровья окно. ПСМ лег один в отдельной комнате и что-то читал или просматривал: газеты, а скорее всего — бумаги, которые он захватил с собой. Не исключено, что он бормотал себе под нос что-нибудь вроде: “М-да... вроде как все люди на своих местах, а настоящих-то работников по-существу и нет...”

Жена его легла в другом помещении то ли чтобы не мешать мужу, то ли чтобы он ей не мешал. И я, разглядывающий сейчас Особняк, как прозрачную булгаковскую театральную коробочку, не могу заметить момент, когда она заснула.

Последней канула в ночь душа кастелянтши, которая видела, как поздно-поздно ПСМ потушил свет — как раз когда строгая женщина ходила на кухню за водой — запить таблетку снотворного.

Я думаю, ПСМ заснул не раньше полуночи. А значит, те двое милиционеров сидели в КПЗ уже часа два или три. Те самые два милиционера, которые говорили с убитым парнем, названным мной Аскером. Да, вот так. Они уже сидели в КПЗ местного отделения милиции. Сами у себя сидели. Я рассказал пока о том, что случилось с ними, лишь до

той минуты, когда они побежали после того, как трахнул выстрел. Но они, разумеется, поднимали пыль ногами не до самого КПЗ. У них была машина, они добежали до нее, а затем вполне культурно доехали до отделения.

На этом месте я не люблю слушать, о чем они говорят с дежурным. Поэтому я не захожу следом в помещение, а просто заглядываю в окно. Вот они, эти двое, сбжавшие из-под фонаря, который остался одиноко сторожить убитого. Один милиционер — с усиками, круглые щеки придают ему довольно добродушный вид; другой — худощавый и выглядит позлее. А иногда вдруг оказывается, что и этот с усами. Дежурный смотрит на них поверх барьера, отпивает чай, отпускает свои пахнущие гуталином шуточки — обычное течение милицейской жизни. Но вот он вроде понял, что его банальные реплики — не для нынешнего сюжета. Размягченные чаем фибры начинают что-то тревожно улавливать. У усатого и у того, что похудей, немо двигаются губы, выпуская слова. Но я не хочу смотреть на них, я перевожу взгляд на дежурного, потому что знаю: сейчас у него начнет вытягиваться лицо. А теперь вопросительный знак изумления на нем распрямляется в гневную стрелу. Дежурный оставляет служебный уют, где регистрационный журнал (или как он называется) и кружка “30 лет Победы”... нет, лучше — стакан в подстаканнике “20 лет ВДНХ” — и выходит из-за барьера, присоединив себя к действующим лицам этой Истории. Пожалуй, один из немногих забавных моментов для меня —

наблюдать его мимику, которая то и дело проскакивает за грань недоумения. Мне это особенно занятно, поскольку я вижу (пока) чуть больше в темной воде времени и ночи.

Устав от удивления и негодования, дежурный делает резкий жест, и милиционеры покорно сдают ему оружие.

И снова черты лица смягчаются, а руки, заперев ящик, показывают сожаление, даже сочувствие.

И дежурный уводит их под замок... Дальше уже неинтересно, можно не смотреть: он вернется и будет записывать всё в журнал, но там не будет ни его недоумения, ни чая в подстаканнике, ни разговаривающих рук... Там не будет людей, а будет только происшествие.

А вообще-то я, наверное, зря так увлекся пантомимой одного человека и не рассмотрел хорошенько, какие тени бродили по лицам тех двоих...

Хотя может быть и не рассмотрел именно потому, что ничего необычного их лица не отражали? Я имею в виду — никаких сверхэмоций, отвечавших уровню дел, связанных с Особняком.

Значит, они не знали? Не ощущали, что втянуты в невидимый наэлектризованный клубок, который готов разрядиться сухим треском пороха — всего лишь через несколько часов, уже рассказанных мной?..

А дальше наступает самый трудный для меня кусок во всей Истории. Тот, когда в Особняке вырвался на волю первый выстрел. Причем, не из какой-нибудь “беретты” с глу-

шителем, а чисто наш, домашний вариант на крупную дичь, без укороченных стволов и прочего баловства.

С одной стороны — подумаешь, представить себе, как пальнули в человеческую плоть! Достаточно вообразить, будто смотришь кино. А с другой стороны — может, потому и сложно, поскольку знаешь, что не кино.

И вот что еще придает этому моменту раздражающий привкус недоумения: ведь что должно произойти сразу после выстрела? Крики? Свет? Беготня?..

На самом деле не было ни света, ни беготни. С пожилой кастелянтшей ясно: она спала, придавленная вероналом. Молодая рассказала потом, что проснулась от какого-то звука, не понимая ничего толком и захлебываясь непонятным страхом.

А ПСМ с супругой? А сторож? Там ведь был наверняка какой-нибудь завалящий сторож?

И тогда я начинаю представлять, как грохот выстрела пролетает сквозь закрытую дверь, шарахается меж коридорных стен, потом вдруг разлетается в холле, утекает в каминную черноту, окантованную мраморными бликами, оседает в коврах и в... да мало ли куда еще деваются звуки в Особняке! Это ведь не квартира в блочном курятнике, где можно сосчитать, сколько раз за ночь спускают воду у соседа.

И я говорю себе: постой, кто скажет, насколько крепок бывает сон, когда спящие уверены, что никакая неприятность с ними не может произойти? Этот выстрел был невозможен.

Более невозможен, чем падение метеорита на крышу или посадка инопланетян на газоне. Он был невозможен, потому что такого в Особняках не бы-ва-ет.

Не бывало, точнее.

И я говорю себе: может поэтому его и не услышали, как не слышали в Особняках и не видели многого другого. Тем более, что выстрел был на первом этаже, а ПСМ с женой спали на втором.

Я догадываюсь, что вы уже вспомнили о шофере Юре, спавшем внизу, и ощущаю немой вопрос: как отреагировал на выстрел он? Он отреагировал тем, что умер, потому что стреляли в него.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.